

ПРИВИВКА ИМЕНИ МИЧУРИНА

-Женька, повесь мою ножку на яблоно, пусть как следует проветрится! — сидя на низенькой скамеечке, отец, кряхтя, отстегнул башмак с вырастающей из него деревянно-кожаной голенью и кочергой, что вымешивают жар в летней печке, двиганул протез на скатерку майского луга. — Пожалуйста, дочушка, повесь ножку.

Женька светится. Ей пятнадцать лет. С радостью и интересом, который свойственен только юным хозяйкам, она шурует большой желтой, из сухой сосны выструганной ложкой в чугуне (там духовито зреет мясо — папка пригласил на застолье в честь 9 Мая товарищей-фронтовиков) и успевает между тем еще и чистить картошку.

Отец, только что любовавшийся стригущими (ни дать ни взять — ласточка!) движениями милых-милых дочкиных рук, вынужден отвлечь Женьку: готовка готовкой, однако и бате минуту внимания можно, в конце-то концов, уделить!

Быстренько вытерев ладошки о передник, дочь взяла ходячую историю, как называет отец

своей протезе, и потащила его к дереву. Узкая спина ее напряглась, стала точеной, отчего бедрашки, раньше почти незаметные из-за циркульно легких и высоких ног, вдруг выпукло обозначились под веселой весенней юбкой.

— Тяжелый?

— Тяжелый, — хмурясь, ответила Женька, приспособившая пахучее от сыромятных ремней деревянное изделие к нижнему, самому толстому суку развесистой яблони, вскипающей иссиня-молочной пеной.

— Шесть килограммов, — Иван Максимович аккуратно, по окружности, подогнул брючину, и его кудя левая нога, устроенная на лавке как на лафете, коротким мануфактурно-пушечным дулом уставилась в сад. Там два десятка тонких прутьиков, посаженных осенью, разбежались по усадьбе. Однако откровенной весенней силой радовала только старуха-яблоня: со скамейки, что была метрах в семнадцати от дерева, ее крона казалась непробиваемым шаром, а с дальнего края улицы — фрегатом, летящим под полным парусом в хрустальную синеву околицы (так думала Женька); терем, укрытый белым облаком, виделся отцу. Впрочем...

— Одуван, вылитый одуван! — однажды воскликнул, прежде чем подняться на крыльцо, Иван Максимович. И потом, возвращаясь с работы, всякий раз он задирал голову и независимо от поганости настроения и объема усталости произносил:

— Одуван!

Женька не поняла, что это за сорт яблок-яблонь — «одуван», а потом звонко-звонко, так, что брови чуть к макушке не убежали, рассмеялась: «Одуванчик! Одуванчик, но только очень-очень большой. Одуван!»

Яблоня чудом уцелела в морозную зиму страшного первого года войны. Немцы, в легкую вырубившие весь сад на дрова, столь могучее дерево, видимо, отложили «на потом», но, скорей всего, пожалели варвары свои тесаки, боясь выщербить их о казавшийся дубовым, угрожающе седой от инея кряжеватый ствол яблони. Однако война все-таки ужалила красавицу — она перестала дарить чудоплоды. Сначала говорили: «Не яблочный год», но, когда за семь лет подряд дерево не разродилось ни единым яблочком, Иван тихо заблеленился. Ведь он, вернувшись с фронта, первым делом посадил сад. Тогда, прыгая на одной ноге вокруг Женьки, держащей прутик, отец совывал в ямку землю своим протезным башмаком и приговаривал, имея в виду устоявшую в войну яблоню: — Вырастет быстро, есть за кем тянуться, на кого равняться!

Саженцы взялись, но зима сорок седьмого года жестоко обделила снегом деревню Шурубы, а морозы насылала такие, что голая земля на огородах покрылась трещинами, в которых запросто скрывался штык лопаты, — и прутьики вымерзли.

— Проклятая война, суки немцы! — матерился Иван, часто называя захватчиков не только суками.

Повзрослевшая Женька вновь держала прутьики и вновь вокруг нее, стараясь быть обстоятельным и ловким, передвигался батя, присыпая вымоченные в коровяке корни растений рыхлой, с розовыми энергичными червяками, землей:

— Без яблок народ оставили, отродье поганое!

Со второго захода прутьики прижились, и по лету зеленые их листочки уже шелестели так же, как и листья взрослых деревьев. Но урожая яблок от них надо было еще ждать и ждать! И вот тогда Максимыч вынужден был взять в оборот довоенную слатену.

— Пол-огорода высасывает, а проку никакого! — говорил он, хлебая холодник. Женька протерла, используя решето, ошпаренный кипятком первый весенний щавель, добавив потом в раствор горсть творога и стакан сливок. Бате кушанье очень нравилось, однако он продолжал брюзжать:

— Яловка! Я-лов-ка! Ты вот так киличи по бугоркам бегаешь-собираешь, а можно было б все на своих грядках посеять. Так нет — всю землю этой царице отдаем. Ждем. А она — ни в какую! Одна радость, что цветет красиво.

«Одуван», — улыбнувшись, подумала Женька и спросила:

— Пап, добавки?

— Нет, голубушка, спасибо. Вот тебе деньги, сбегай, купи в сельпо килограмм семь песку.

— Папа, у нас сахара на два месяца запас... А соли — на год!

— Беги, пока я правильно думаю, а то будешь пуд покупать.

Женька взяла чистую наволочку, которую часто использовали как тару под крупы или муку, и понеслась в магазин.

Иван Максимович достал из комода бинты, вату, коробку пластилина, а из шкафчика — бутылку «Московской», налил маленковский² и, перекрестившись на икону Николая Чудотворца, со словами: «Помоги, Господи!» — вылил водку в широкий рот.

Женьку отец, через плечо которого висела полевая сумка, встретил в сенцах и развернул в сад.

— А песок?

— Песок бери с собой... Где лестница?

— Под стрехой, с той стороны дома, ты там ее оставил, когда березу подкручивал.

Максимыч сходил за лестничкой, прислонил ее к яблоне. И снова направился за угол хаты.

— Пап, ты скоро? Мне уроки делать надо!

— Уроки? Да мы сейчас с тобой такой урок, урок ботаники, заварганим, что сам Мичурин с того света явится опыт перенимать. И «пятерку» поставит. Тебе. А мне — «пятерку» с плюсом!

Вторым рейсом баты притащил полведра березовика. Женька наблюдала за ним, как Буратино за папой Карло. Старик что-то затеял, и, похоже, действительно, Ивану Владимировичу Мичурину следовало готовиться к тому, чтобы стать сегодня у Кириенковых ассистентом...

Еще одним предметом, который был положен к подножию лестницы, оказалась воронка: ею чаще всего пользовались в сенокосную пору, когда наливали во фляжку находящийся в чулане, сдобренный жареным ячменем березовый квас, холоднющий даже в июле.

— Ну что, дочушка, готова поработать Мичуриным?

Женька поняла, что ей придется карабкаться по лестнице. Встав босой ногой на первую перекладину, девушка спохватилась:

— Пап, наволочку забери. Мешает же!

— Заберу. Когда она пустой станет.

У Женьки опять брови полезли к макушке.

— Что, до сих пор не догадалась? А еще отличница! Ладно, так и быть: твоя задача — очень, ну очень-очень аккуратно засыпать песок в душло.

Только теперь поняла Женька, что задумал батя. Летом громадная дыра в стволе яблони из-за густой зелени была не видна. Зато черно-белой зимой зраком выхваченного из печки чугунок взидала она на исходящую дымами деревню, и всякий раз напрягала девочку, когда та, придя из школы, вынуждена была оглядываться с крыльца: чугунокный взгляд яблони упирался прямо в дверь коридора, которую отпирала Женька; и во взгляде том соединяли свою фиолетовую гипнозно-

¹ Я л о в к а — бесплодная корова.

² М а л е н к о в с к и й — народное название 250-граммового граненого стакана.

голодную суть и филлин, и сова, и удав, и, наверное, даже кобра, хотя Женька ее ни разу и в кино не видела. Сейчас, когда разгулялась весна и рядом находился батя, ее охранитель и выдумщик, Женька страха не ощущала, наоборот, ей стало ясно, что и тому, зимнему, страху осталось жить минут десять, ну, пятнадцать, и все — и никто не будет ей зимой спину до пупка сверлить!

Уложились в двадцать минут. Женька, не просыпав мимо и щепотки, заправила дупло сахаром, через воронку вылила в шипящую дыру сок и запломбировала ее пластилином. Иван Максимович, вытягиваясь и становясь почти колодезным журавлем, протянул дочке бинт.

— Пап, тут и пластилина достаточно...

— Дочушь, рана, она и есть рана, хоть на вояке, хоть на деревяке, и должна быть забинтована.

Женьке санитарить понравилось, и она, чтобы ровным слоем тугой марли закрыть все-все заусенцы и шрамы страдальницы-яблоньки, даже попросила второй, похрустывающий упаковкой фунтик. Поскрипывая внизу протезом, Иван Максимович, любуясь гибкостью и ловкостью Евгении, уже предвкушал огненную горечь водки по случаю завершения садовой операции имени Мичурина, как вдруг Женька испуганно ойкнула. Кровь! Обо что-то острое, когда взялась по-быстрому завязывать на узелок бинт с обратной стороны ствола, она расшарахала ладошку!

Чтобы остановить струйку, Женька прижала пораненную ручонку к запеленутой кукле дупла.

— Быстрее слезай, у меня еще один бинт есть! — отец сильно-сильно заскрипел деревяшкой.

— Пап, там железяка какая-то торчит. Ее, наверное, вырвать надо...

— Железяка-железяка... Осколок это. От немецкой бомбы.

— Он... он как бритва!

— Не-а, трогать не будем. Он намертво врос. А вырвем — дыра будет, можем и не залечить — это тебе не дупло! Ты же сама знаешь, что у меня под левой лопаткой шрапнелька сидит, а хирурги ее не трогают, боятся, что мне амбед будет.

Пока Женька, держа ладошку на отлете, осторожно спускалась вниз, Иван Максимович смотрел на забинтованную шею яблони, на алое пятно, оставшееся на ее белой махровости, на палевую любопытную ворону, уместившуюся на крыше соседнего дома, на громадные карие глаза дочери, и почему-то грустно кивал и кивал головой...

— Пап, ты что? Мне ни грамма не больно! Не волнуйся. Сейчас перевяжем — и все, смотри, кровь уже подсыхает...

— А знаешь ли ты, что мне тоже, когда ногу оторвало, сначала тоже было не больно... Пойдем-ка в хату!

В комнате Иван Максимович, смочив водкой клочок ваты, промокнул разваленную надвое мякотку и взялся за бинт.

— Папочка, я сама! — Женька, перестав кривиться от боли, чмокнула отца в гранатовую от танкового ожога правую щеку, своими порхающими руками — одна помогала другой — моментально обрядила ладошку в белую рукавицу.

— Видишь, ничегошно, даже красиво получилось. Как варежка у Снегурочки! Единственно, водкой воняет!

— Воняет?

— Еще как!

Иван Максимович хмыкнул — и разлил остатки «Московской» в стакан и рюмочку, из которой предварительно извлек подснежник. Рюмка стояла на подоконнике: вчера Женька устроила в эту граненую на одной хрустальной ножке ямку первый весенний голубоглазый цветок. И вот теперь пришла пора использовать рюмку по ее прямой принадлежности.

— Запах ей не нравится... — бурчал отец. — А инфекция? Ее изнутри надо убивать тоже.

— Пап, так что, пьем за дезинфекцию?

— Нет, дочушка, за нашу Советскую Родину!

Женьке опять захотелось поцеловать бату в шершаво-гранитную щеку, однако прижалась она к нему только после того, как сумела-таки, брезгливо скорчив рожу, сглотнуть эту противную-препротивную водку.

Обнявшись, они простояли минуты две. В широкой груди отца гулко стучало сердце, рубаха пахла яблоневым цветом, а крепкая шея казалась домкратом, не позволяющим поседевшей голове склоняться перед невзгодами и кознями судьбы.

«Шрап-нелька! Шрап-нелька! Шрап-нелька!» — в висках у Женьки рыбкой билось это слово, и она очнулась только тогда, когда вновь увидела в руках бати хрупкую рюмку: из чайной ложки сливал он под стебелек цветка колодезную воду, черпая ее из своей любимой алюминиевой кружки, всегда стоявшей на отцовском краю стола.

МУЗА ПОЭТА ЦАРЕВА

Было это три года назад. В первое после «мичуринской» прививки лето яблоны — увы! — ничем не порадовала, и Иван Максимович ходил до самой осени с тяжеленным лицом. Зато через зиму расцвела так буйно и бело-пламенно, как не цвела никогда — и к Спасу почти вся лужайка у дома Кириенковых, дразнящая взгляд сочным зеленым колером, представляла собой громадный бильярдный стол, на котором было не счесть пропитанных медом многих-многих десятков желтых шаров.

А еще через год яблоки стали главным украшением длинного-длинного свадебного стола, за которым кричали «Горько!» Женьке и ее избраннику, корреспонденту районной газеты Анатолию Цареву. Царев ушел на фронт семнадцатилетним пареньком. Сразу после выпускного он вступил в комсомольский истребительный батальон, потом попал в минометное училище, командовал батареями. Заканчивал войну уже сотрудником «дивизионки»: в 1943-м, сразу после форсирования великой славянской реки, он рискнул отправить в редакцию стихотворение «Днепр позади — Берлин впереди», — его опубликовали, а вскоре за Царевым приехал инструктор политотдела дивизии с приказом генерала на руках о переводе комбата-минометчика в военкоры газеты «Суворовский натиск».

После демобилизации капитан Царев осваивал гражданскую журналистику. Просиживал в редакционном домике с восьми утра до восьми вечера, а часто и позже. Правил неловкие заметки селькоров и чеканил свои абзацы о трудовых подвигах фронтовиков, возрождающих истребленных смоленские деревни. Выпивал с десяток стаканов по-офицерски круто заваренного чая и верил, твердо верил в созидательную силу земляков. Вечером, когда никто не отвлекал, у Анатолия начиналось святое время — он писал стихи. Но лирика не шла — его все еще не отпускала война: мины, штыки, автоматы, призывы «За Родину! За Сталина!». Бывшему комбату хотелось лугов, черемухи, косынки, нежного взгляда и дерзких переборов баяна. «Неужели я так ожесточился в окопах?» — в очередной раз спрашивал себя Царев, швыряя в мусорную корзинку комок исчерканного листа, в котором «Огненные трассы вонзались в брюхо «мессершмитта»...

Однажды в редакцию заглянула Женька — она принесла рассказ «Одуван» — о чуде возрождения яблоны. Анатолий пригласил девушку на заседание «Колоса», литобъединения, которое он организовал при газете. Цвет литературной молодежи села Речистого собирался в редакции по субботам, потом поэты и поэтессы шли в районный ДК на танцы, а Анатолий и Евгения оставались в накуренном

и еще горячем от творческих споров редакторском кабинете. Веселиться в Доме культуры у них не получалось: неподалеку от танцверанды в сквере покоилось братское кладбище, где вместе с воинами, погибшими при освобождении поселка, были захоронены и останки их матерей и младших сестреноч. Гитлеровцы, отступая, согнали в колхозную конюшню детей, женщин и стариков, подперли ворота оглоблями, плеснули бензина на стены и углы — и ударило в небо пламя с печальными каемками копоти на концах своих безжалостных оранжевых языков. Восьмилетнюю Женьку свалил тиф, и неделей раньше ее на саночках увезла в другую деревню выхаживать бабушка Сима, мать отца...

Была и еще одна причина не посещать ДК — стихи. Анатолий не хотел, да и не мог читать их на литобъединении. Лирика, подспудно копившаяся, вдруг ударила фонтаном, его брызги заиграли радугой и смыли, наконец, фронтовой нагар с души капитана. А радугу-то лучше не толпой созерцать! Какое же это созерцание! Другое дело, если рядом она, Муза, которая ловит каждое твое слово...

Максимыч одобрил выбор Женьки, но поставил условие — за родимый порог он дочь не отпустит: «Пока ты в доме — я жить хочу и буду жить. Так что веди капитана к нам. Наш он, фронтовик, мы друг друга пойдем. Я вам мешать не буду».

Евгения, хоть безмерно и любила Ивана Максимовича, но в свою очередь спросила так, что у него на отсутствующей стопе засвербела пятка:

— А не споишь ли ты мне, папа, Толю?

— Сто грамм наркомовских... Что от них молодому мужику станет!

— Так! — в голосе дочери Максимыч вдруг услышал звеняще жестяную интонацию Нины, Женькиной матери:

— Наркомовские пей один, а с Толей — только на День Победы, 23 февраля и в день рождения!

— А еще 5 августа, когда Сталин Лизюкову Героя Советского Союза дал!

— Хорошо, — спохватилась дочка. — Да, папа, 5 августа — святое. Прости! Я тоже чокнусь с вами.

Не было бы 5 августа 1941-го, не случилось бы и исторического для всей планеты и 9 Мая 1945-го! Полутораногий старшина убедил в этом не только себя...

КИПАЩИЙ ДНЕПР СОРОК ПЕРВОГО

Пятое августа для Ивана Максимовича было таким же пьяным, горьким и счастливым, как и 9 Мая. В сорок первом году сержант Кириенков служил механиком-водителем танка в подчинении полковника Лизюкова, коменданта Соловьевой переправы на Днестре, между Кардымовом и Дорогобужем. Это потом война бросит танкиста в бои на Волоколамском шоссе, обожжет под Сталинградом, отправит на прорыв блокады под Ленинградом, а у Кенигсберга, когда они по ходу атаки будут натягивать порванную гусеницу, осколок отрубит ему полноги, — но обо всем этом Максимыч и через десять, и через двадцать, и двадцать пять лет будет говорить: «Семечки! Чепуха! Так страшно и так кроваво, как было на Соловьевой переправе, не было нигде! Кто прошел через нее, тот всю войну мстил немцу за нашу кровь, за побитых и утопших на этой Соловьевой переправе».

Женька много раз — и когда угощала батиных друзей-инвалидов за праздничным столом под яблоней, и когда отец, в одиночку, стоя перед Святителем Николаем, поднимал памятную стопку, — слышала:

— Переправа! Соловьева переправа! Ад и слава — переправа! Ад — крошечный, а слава — горькая-горькая!..

Повзрослев, Женька пробовала что-то найти в книгах про этот тяжкий крест, что образовывали в годину испытаний, пересекаясь, великая славянская река Днепр, водный путь, и сухопутный тракт — Старая Смоленская дорога. Да куда

там — сорок первый год! Отступление, миллионные потери. О битве под Москвой, когда немцев отбросили, написано много и патриотично, о Ельне — там гвардия родилась — немного, но есть, а о Соловьевой переправе — нигде и ничего! События на Соловьевой переправе опишут в литературе Константин Симонов, Иван Стаднюк, Борис Васильев, коснутся их в своих мемуарах военачальники, но это будет уже в 60-70-е годы...

Только когда приехал из Гомеля в Речистое племянник полковника Лизюкова, молодой доцент Иван Афанасьев, сумевший тактично, системно и обстоятельно расспросить отца о том, что творилось на переправе в июле-августе сорок первого, Женька, слышавшая весь разговор, влюбленная в газетных и книжных Зою Космодемьянскую, Александра Матросова и молодогвардейцев, поняла, сколько же их на самом деле много, таких героев, очень много, и о них ничего никто не знает. И не узнает, скорей всего. Как хорошо, что есть папка! Как хорошо, что он выжил! Как хорошо, что Афанасьев расспросил его о Лизюкове. Александр Ильич — герой, спасший тысячи жизней! И батя — герой! Был огонь, была кипящая вода, летевшие со свистом бомбы, а они мосты строили и защищали тех, кто по этим мостам шел: раненые, женщины с детьми и части трех армий, части, которые, переправившись через Днепр, будут драться под Ярцевом, Вязьмой, Сычевкой, Ржевом, Можайском, Волоколамском, Тулой, измотают врага и отстоят столицу.

Отец рассказывал Афанасьеву:

— На переправе — киш-миш. Но это с виду, со страху. На самом деле там был порядок, который держал железной рукой Александр Ильич. Переправа работала день и ночь. Когда он спал, я не знаю. Ночью дремлю в танке, а он пошел в деревенскую церквушку (там что-то вроде штаба) операции по защите переправы разрабатывать, с разведчиками и саперами встречаться.

Только понтоны наведем — немец их разлупит. Так что придумал Лизюков — сделать подводный мост! Машины ЗИС-5 загнали в Днепр, рамами друг к другу прижали, кабины сбили — путь с берега на берег есть, а с воздуха летчики его не видят! Утром немцы прилетели, а бомбить нечего! Лизюков народ расредоточил вокруг деревни, по кустам и рощицам, заставлял в других местах реки на всяких корытах и плотках плыть к правому берегу, чтоб от главной живой нитки самолеты увести. Немцы пройдутся вдоль Днепра, из пулеметов врежут, водичку кипятят, а бомбить по-крупному им нечего!

Лизюкову, конечно, машинное вредительство один прыткий особист хотел приписать, однако Александр Ильич успел его к нам в танк пригласить. Они без меня там разговаривали, но полковник семнадцать месяцев в одиночке в Ленинградской тюрьме НКВД отсидел, Сталин его за год до войны вернул в армию, и Лизюкову после этого какие-то особисты уже были по хрену! Но потом он с нами поездил несколько часиков, чтоб понять, как Родину любить. Самолеты за танком тоже пробовали гоняться, но только я резко тормозить и виражи закладывать еще до фронта научился на танкодроме. Школа Лизюкова, он ведь мог машину заставить «яблочко» вприсядку танцевать! И меня к себе взял, потому что я у него тоже кое-что успел перенять. А особист, конечно, шишек, когда я тормозил, набил!

Кто думает, что переправа — это дорога, мост и орава лезущих «скорей-скорей на тот берег» людей, то очень ошибается: это не переправа, а бардак! Лизюков до Соловьева десять дней руководил переправой на Березине под Могилевом, и на Днепре уже он распорядился, отбирая для организации дела нужных ему командиров с боевым опытом, зная повадки немцев, расписав бомбежек, умея разговаривать с паникерами.

Александр Ильич с первых дней своего комендантства заставил всех, кто мог держать лопату, рыть окопы и щели в деревне и на обоих берегах Днепра. Зенит-

ки маскировать, а штаны надевать колесо от телега, а на колеса ставить пулеметы, чтоб по самолетам сподручней было бы бить. Так что переправа не огрызалась, а себя защищала! Да, народу с каждым днем добавлялось, и Лизюков этот поток разбивал на ручейки — в восемнадцати местах переходы были! Ясное дело, основные в Соловьеве и Ратчине, однако и в других точках войска переправляли.

С Лизюковым прибыл с Березины и его сын Юра. Шестнадцать лет, а танк водил, почти как я! Юру Лизюков использовал больше как вестового. Парень легкий на ногу, отцовские приказы он быстрее радио куда надо доставлял. Когда Лизюкову дали в распоряжение «катюши», Юрка батарейцам позиции показывал. Я у него спрашиваю: «Ну, что, эта згорода на машине лучше танкового дула?» А он мне: «Танку — танковое, ракете — ракетное». Но видно было, что понравилось ему этими стрелами-букетами пулять, хотел к их комбату перейти служить, но Александр Ильич пообещал ему танковое училище. Юрка поехал потом в Саратов, это уже в августе, из-под Ярцева, уже когда нам с ним по медали «За отвагу» досталось, а Лизюкова командиром первой Московской дивизии назначили. Третьего и четвертого были последние дни переправы, из-под Смоленска все части двадцатой армии перешли у нас на другой берег, а пятого августа Рокоссовский сообщил Лизюкову, что товарищ Сталин звание Героя ему присвоил. А мне Александр Ильич пятого августа рекомендацию в члены ВКП(б) дал!

Лизюков мог бы переправу и еще поддержать, но тогда бы мы попали в окружение. А так еще на Вопи, обороняя Ярцево, Александр Ильич контрнаступление организовал, чтоб отвлечь немцев из-под Ельни и помочь Жукову взять город. Дивизия за Ярцево получила орден Красного Знамени. Нас потом на переформирование под Можайск отвели. Я еще тогда был о двух ногах и думал, как это из соловьевского пекла я без единой царапины выбрался! А вот Лукашу там руку отхряпало.

Евгения, как и отцовскую ногу, так и протез левой руки дяди Пети Лукашова тоже подвешивала на яблоню. Случалось это чаще всего на пике застолья, когда уже пропели «Майскими короткими ночами» и «Землянку» и вот-вот должны были грянуть «Варяга» или «Артиллеристы, Сталин дал приказ!..» Лукаш делал знак Женьке (он всегда сидел крайним): подойди, мол, срочно, дочка, выдвигал в ее сторону левое плечо, расстегивал пиджак и какую-то уздечку под рубашкой — и нате вам, девушка, примите, пожалуйста, сию двусуставную канделябру!

После этого Лукаш порывисто вставал и командовал:

— А теперь — «Артиллеристы»!

Среди искалеченных, могущих сидеть за столом, и безногих, которым Женья на травку стелила домотканые половики, не было ни одного артиллериста, сам Лукаш — из саперов, однако эту песню любил так и пели так, что при словах «За слезы наших матерей, за нашу Родину — огонь! Огонь!» с яблони хлопьями начинали слетать лепестки! Конечно, пару поддавал Лукаш — он дирижировал своей правой так, как не могли махать одним клинком Чапаев с Котовским вместе взять!

Петр Егорович Лукашов, Лукаш, тоже знал Лизюкова: на параллельной переправе в Ратчине, в пяти километрах от Соловьевой, полковник расставил саперов с топорами по плавучему мосту вдоль матиц, длинных досок, которые вязали бревна по краям от берега до берега. Такой мост не очень-то разбомбишь, бревна — как намыленные, и немецкие летчики стремились класть пулеметные строчки, чтоб распороть доски вдоль. Нет доски — нет связи, нет связи — концы бревен свободно болтаются — и нет переправы! Для самолета главное — разбить матицы, а саперы, стоящие по краям, дело уже вроде как второе, однако свинцовые струи сшибали ребят прямо в Днепр: не удалось немцу раскурочить звено-связку — получи, руссише швайн, остаток боезапаса! Кто уцелел — нашивает новые доски,

кого унесла река — тому вечная память, кого ранило — тому повезло: санбат. Лукашу, выходит, повезло...

Лукаш — дирижер отменный, но лучший голос, очень душевный, не у него, а у Степана Ильича Егоренкова. Его привозит из Бердяева на майскую сходку жена, Анна Ивановна. Она работает в сельсовете секретарем исполкома, и на двоих с председателем им положен конь. Анна усаживает Степана на подводу, поправляет на голове кепку, чтобы козырек прикрывал от злого весеннего солнца незрячие глаза мужа, отдает ему в руки вожжи, а жеребчику командует:

— Голубь, в Речистое!

Голубь знает все дороги округи и названия деревень: если бы мог говорить — сдал бы экзамен по местной географии! А вожжи в руках у Степана — для ощущения власти: мужик должен править, считает Анна.

У Степана тоже нет ноги.

— Но руки-то есть? Есть. Ухи есть? Есть. Нога, хоть и одна, есть? Есть. Кое-что, чуть повыше колена, у нас есть? Есть. Я у тебя, самое главное, есть? Есть! — Анна целует мужа в щеку, вытирает уголком косынки выкатившуюся бусину слезы. — Поехали!

...Лукаш наливает стаканчик Степану Ильичу и говорит:

— «Темную ночь», пожалуйста.

— Ты мне налил?

— Налил.

— А Нюре?

— Извиняюсь, сейчас-сейчас...

Каждую весну Лукаш почему-то забывает наполнить рюмку Анне Ивановне — и всякий раз Степан Ильич не торопится опрокинуть стопку, а проверяет, оказано ли законное внимание супруге. Как же он чувствует, что Лукаш «опять забыл»!

Но вот Егоренков встает, и, пока он поет «Только пули свистят по степи», Женя наблюдает за Анной Ивановной. Чем взрослее она становится, тем больше ей нравится эта женщина. Может, потому, что на маму похожа? Да. А еще потому, что ухаживает за Степаном Ильичом совсем-совсем не по обязанности. Вот все эту песню любят, слушают внимательно. А внимательней и правдивей всех — тетя Нюра. Бернеса так не слушают!

Женька вспомнила, как в позапрошлом году застолье почти накрыла гроза. Из-за плотной марли одувана прозевали тучу — и громыхнуло! Мужиков — девять душ, у всех протезы развешены на яблоне, вот-вот ливень со стола всю закуску смоеет и будет не праздник — потоп, а они: «Люблю грозу в начале мая... Наливайка по седьмой!»

— Слушай мою команду! — Анна Ивановна сказала это совсем не женским голосом, и фронтовики протрезвели. — Мокрые вы нам не нужны! Эй, двуногие, обнимите одноногих — и марш в дом. Однорукие, если закусывать собираетесь — берите миски с винегретом. Протезы пусть висят, они не простудятся! После дождя как новые будут! Женя, поднимаем Кузнецца...

Дядя Толя Кузнецов свою фамилию оправдывал абсолютно — работал кузнецом. И это при том, что обе ноги за ним уже не числились! Сейчас он, угнездившись на половике, играл «в ножички» с леворуким пастухом Левшуновым — правую руку «откусил» ему под Вязьмой Гудериан.

— Левшунов, тебе уже винегрета не осталось нести, за холодец отвечаешь! Бегом! Толя, одну руку закинь Жене на левое плечо, другую — мне на правое. Оп-па! Понесли!

Дядя Толя, собираясь на застолье, надел новый костюм в полоску, и папа, который придерживал дверь в сенцы, чтобы она не захлопнулась, крикнул с крыльца:

— Девки, вам где такой гарный пиджак обломился? Не уроните, а то вымажете! Кузнец-пиджак, вися на крепдешинowych женских плечах, подал голос:

— У меня руки свободные, какую-нибудь тарелку дайте! Подсоблю...

Конечно, в доме такого приволья, как под яблоней, не было, однако и тесноты тоже. Хозяйки-хлопотуньи все успели перетащить: и тарелки с остатками еды, и табуретки, и половики. С протезами связываться не стали — и так грохота хватает. Иван Евдокимович помог письменный стол Женьки придвинуть к обеденному, а из печки достали второй чугунок с тушеной картошкой.

Тетя Нюра всех бойцов устроила, рассадила, разложила и, распахнув створки окна, сказала:

— Ну вот, теперь можно и по седьмой!

Живой воздух мая снова обнял фронтовиков.

На свадьбе Егоренковы дуэтом спели «Спят курганы темные», и жених признался Женьке:

— Если бы тебя не было, я бы за Анной Ивановной приударил!

Большинство из отцовских друзей на свадьбу не пришли — навидумывали каждый кучу уважительных причин и предлогов, а на самом деле постеснялись, дескать, за столом будут все молодые и красивые, а мы — войной меченые-калеченые. Степан Ильич и Анна Ивановна тоже пробовали отказаться, но невеста взяла и у их дочки (ее тоже Женькой зовут) спросила:

— Хочешь ко мне на свадьбу?

— Хочу.

— Приглашаю. И папу-маму приводи.

Дядя Степа дочку больше всех на свете любит, а тетя Нюра и сама хотела гулянуть по-молодому на все Речистое — вот и сидели они рядом со счастливым Иваном Евдокимовичем как самые близкие люди ему, Евгении, а теперь и Анатолию.

А поэтессы литобъединения на Толю глядели и песню орали: «Зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой?..»

ФЛЯЖКА СИМОНОВА

Вскоре в гости к молодоженам приехал Алексей Мишин. Друг Царева, он тоже писал стихи, однако на хлеб зарабатывал, трудясь репортером на областном радио. К друзьям на свадьбу Мишин не попал, поскольку вынужден был в тот же день сопровождать первого секретаря обкома, решившего посмотреть, как идет по Западной Двине сплав леса из велижских дебрей в Витебск. Сразу после радиопередачи Мишин устремился в Речистое, чтоб наконец-то поздравить молодоженов.

Женя усала Анатолия за снедью в магазин, а сама, поставив на стол под одуваном самовар и блюдо с янтарным медом, стала потчевать гостя не только чаем, но и рассказом о том, кто был у них на торжестве и кого не было:

— С Анатолием мы всех, кого приглашали и кто постеснялся, потом обошли по дворам. Во-первых, это — фронтовики, во-вторых, хотела, чтоб папины друзья мой выбор оценили, а, в-третьих, они меня чаще дочкой, чем Женькой называли, а как дочка должна поступить? Вот то-то и оно! Муж мой всем понравился, но они его все-таки чуть стеснялись — корреспондент! Единственный, кто бойко с ним вел разговор — дядя Саша Сухарев. Он командовал ротой в Донской дивизии, которая рядом с лизюковцами тоже обороняла Ярцево. В дивизии бывали писатели Фадеев, Шолохов, Петров, Симонов. Комдив Кириллов привозил писателей на передний край именно в роту Сухарева. Дядя Саша рассказал Анатолию, что Константин Михайлович Симонов не просто с ним общался, а, узнав, что Сухарев прошел через бои под Могилевом, где сам писатель уже 26 июня начал воевать, пода-

рил ему фляжку с водкой. А фляжка-то спасет дяде Саше жизнь! Под Сталинградом он набрал воды из ручья, что впадал в Волгу, сделал глоток — и вдруг сильный толчок в грудь, а фляжка — в сторону. Снайпер! Но пуля пробила сосуд только с одной стороны...

— Слушай, Женечка, это же материал для радиоочерка! — Мишин сделал большой глоток чайного отвара. — Горячо! Познакомьте меня с этим дядечкой...

— Познакомим. Тем более он с поэтами любит общаться. Причем, по-серьезному. О фляжке-спасительнице старший лейтенант Сухарев написал в «Красную Звезду» с просьбой передать военкору газеты Симонову его треугольничек. В редакции это письмо легло в персональный мешок Константина Михайловича: автору стихотворения «Жди меня» свои откровения, поклоны и приветы слали воины всех фронтов, и, пока поэт находился в командировке, писем набиралось под самое горло в этой емкости. Ответить каждому адресату Симонов, понятное дело, не мог, а вот дяде Саше даже прислал стихотворение под названием «Фляга»! Оно было набрано редакционной машинисткой на отдельном листе, а в правом верхнем углу поэт «от руки» пожелал старшему лейтенанту Сухареву увидеть Победу. Автограф Симонова дядя Саша хранил в папке с фронтовыми фотографиями, справками из госпиталей, благодарностями Верховного Главнокомандующего и орденскими книжками. И вот Александр Иванович бережно разгладил лист на краю дубового стола и поднял на нас глаза: «Послушаете?» Письмо от самого Симонова! Конечно, обалдевшие, мы закивали головами.

Когда в последний путь
Ты отправляешь друга,
Есть в дружбе, не забудь,
Посмертная услуга:
Оружье рядом с ним
Пусть в землю не ложится,
Оно еще с другим
Успеет подружиться.
Но флягу, что с ним дни
И ночи коротала,
Над ухом ты встряхни,
Чтоб влага не пропала,
И коль ударит в дно
Зеленый хмель солдатский, —
На два глотка вино
Ты раздели по-братски.
Один глоток отпей,
В земле чтоб мертвым спалось
И дольше чтоб по ней
Живым ходить осталось.
Оставь глоток второй
И прах, предав покою,
С ним флягу ты зарой,
Была чтоб под рукою.
Чтоб в день победы смог
Как равный вместе с нами
Он выпить свой глоток
Холодными губами.

— Женя, да ты даже успела выучить стихотворение. Молодец! Может, и мое что-нибудь когда-нибудь выучишь, — Мишин с восхищением посмотрел на девушку.

— Симонов очень легко учится. Я половину его стихов знаю. Ты слушай, что дальше было. Дядя Саша говорит: «Самая пора выпить за здоровье Константина Михайловича». И достал фляжку, а в ней с боку — дырочка!

— Ту самую?

— Ту самую! И они взялись переливать в эту алюминиевую посудину содержимое бутылки, которую мы принесли, а потом, как мальчишки, ловили стаканами струйку и чокались.

Дядя Саша Анатолию говорит:

— Я газету твою читаю. Сев, картошка, лен, доярки, — все это хорошо, а про фронтовиков — мало. Мало!

— Александр Иванович, пашут — сеют — строят — это же все фронтовики делают!

— Конечно, а кто за нас делать будет! Я сам пищекомбинат в райпотребсоюзе строю. И конфеты там будем делать, и колбасу, и лимонад. Сейчас бы вот Женечке лимонада в самый бы раз налить, а мы ей водяру капаем! Но будет и лимонад, будет! Жизнь будет слаще!

— А березовик у вас есть, дядя Саша?

— О, хорошо, что напомнила. Полная кадлушка. Подай, пожалуйста, кринку. В буфете на нижней полке стояли графин и два горлачика. Я вытащила графин.

— Однако культурная. Ну, уважь ты меня, дочка, дай все ж таки кринку.

И дядя Саша раскачивающейся походкой двинул в холодную кладовку за квасом.

Толя, глядя ему вслед, сказал:

— Для такого мужика двести граммов — не выпивка. А его вон как колышет. Давай-ка будем собираться, пусть дядька отдохнет!

— А его всегда покачивает — у него ж обеих ног нет! Врачи гангрену проморгали...

Тут дядя Саша притащил горлач:

— После хорошей выпивки — самый нужный напиток. Ква-сок! Не просто квас, а квас плюс сок, получается «ква-сок»! Молоко — только на третьем месте... Угощайся, Женечка!

И Анатолию:

— Так я опять про райгазету — фронтовиков не обижайте. У тебя три ордена — ты там, в редакции, наш щит, а не эти приезжие щелкоперы. Да, война всем надоела, но нет правды о войне! Одних Симонова, Твардовского, Исаковского мало. Мало! Ты обо мне не пиши — о нас Борис Полевой написал. Хорошая, ха-а-ррошая книга — «Повесть о настоящем человеке», согласен?

— Согласен.

— Ты о тесте своем, Иване Максимовиче, напиши. Чтоб судьба была видна! Наша судьба...

Анатолий на меня посмотрел.

— Ты Жене глаза не строй — уже построил: вижу, что пьян от того, что такая святая девка тебе досталась. Ты про ее батю напиши. Она сама не попросит, а я прошу. Напишешь — фляжка твоя.

Толя по дороге обратно мне говорил:

— Я тоже фронт прошел, мне тоже чуть руку миномет не оторвал, но батя твой и его кореша — они совсем другие люди! Другие. Они те, на ком русская жизнь держится!

Я его поцеловала.

БАЛЛАДА О КРОВИ

— Женя, а что это за чемодан такой у нас полтеррасы занимает? — раздался голос Ивана Евдокимовича. Уже несколько минут Кириенков стоял на крыльце, не решаясь прервать беседу. Тем более дочка стих читала. Артистка! Но сейчас, кажется, можно было и встрянуть...

— Ой, папка! Мишин приехал, Алексей Викторович! — Женя горделиво повела плечами. — Специально, чтоб нас поздравить!

— И что, чемодан колбасы привез?

— Иван Евдокимович, колбаса — в рюкзаке, а чемодан и не чемодан вовсе. Это магнитофон, там вам есть привет от Карелии. — Мишин пошел к крыльцу, чтоб пожать руку хозяину.

— Заходи в дом... Карелия — это хорошо. Давно мы с ним рюмку не поднимали. Так ты, выходит, его проведаль?

Семен Семенович Карелин, можно сказать, квадратно оправдывал свое прозвище. Во-первых, благодаря говорящей фамилии, во-вторых, в Карелии он родился и вырос. В сороковом сразу после окончания педучилища его призвали в армию, а на Соловьеву переправу он пришел уже со звездой младшего политрука на руке.

— Рано утром открываю люк, лезу из танка, глядь — а у меня на броне политрук спит! — вспоминал Иван Евдокимович свое знакомство с Карелиным. — Но весь наготове, тут же встрепенулся. Я говорю: «Извиняйте, товарищ политрук, мне за командиром ехать надо, а вы, пока темно, переправляйтесь на ту сторону». А он мне: «Я переправляться не буду. Надоело отступать. Вези меня к командиру». Политрук не расставался с винтовкой, и это Лизюкову понравилось, а когда Александр Ильич узнал, что Семен из Карелии, вдвое обрадовался, видимо, вспомнил по-доброму те места, в которых часто бывал в тридцать восьмом году, изучал линию Маннергейма, когда служил в Ленинградском военном округе. И, знаешь, Лизюков тут же, в пять утра, назначил Карелина комиссаром переправы. Чутье на людей у Александра Ивановича было, как ни у кого! 27 августа немцы захватят переправу, но Лизюков и Карелин сбросят их в Днепр. Вот где политруку его винтовочка со штыком помогла! А вообще-то он кровь ненавидел: когда детей переправляли — следил за тем, чтобы мамки и учительницы с воспитательницами им глаза завязывали, бинты раздавал, лишь бы не видели дети кровавой мешанины на досках понтонов, кусков мяса, обрубков тел человеческих. Я б себе тоже глаза завязал, если бы танком управлять не надо было! То ли первого, то ли второго августа Карелина ранило в ноги, мы едва успели его определить на последнюю санитарную полуторку.

А нашелся политрук лет через десять: в областной газете Женька прочитала заметку о том, что учитель Соловьевской школы С.С. Карелин просит всех, кто воевал в сорок первом году на переправе, прислать для школьного уголка боевой славы свои воспоминания. Она показала газету отцу и тот вскинулся: «Карелия! Разрази меня гроза, он!» Оказалось, что Семен Семенович оставил квартиру в Петрозаводске и перебрался из озерно-комариного края на берег смоленского Днепра. Когда они увиделись в Речистом, объяснил Кириенкову, что дело вовсе не в мошкаре: «Иван, спать спокойно в Карелии не мог. Чуть глаза смежу — и переправа, как страшное кино, начинается. За ночь раз восемь вставал. Покурю, ложусь — опять бойня. В сорок первом не боялся — в пятьдесят первом стал бояться! Жена на меня глядела-глядела — и повезла в Соловьево. Давай, мол, побудешь на своей переправе: и друзьям погибшим поклонись, и на душе полегчает... Приехали, поклонились, в школу зашли, а директор говорит: «Историю вот преподавать некому, молодая учительница замуж за пограничника вышла и уехала

на заставу. Кстати, к вам в Карелию...» Я: «А жить есть где?» — «Квартира при интернате». Жена все поняла и только руками развела: «Сама виновата: сама приехала!» Так что давай, Иван, теперь приезжай в гости.

И Кириенков стал бывать в Соловьеве. Обычно случалось это на Яблочный Спас. Иван Евдокимович набирал под одуваном два мешка дышащих золотым светом крутобоких плодов и звонил председателю райкома ДОСААФ:

— Заедь, майор, на минутку к ворошиловскому стрелку.

Отставной майор Игнатов отказать Кириенкову не мог, поскольку сам был «шесть с половиной раз ранен» (за «ноль-пять» у Игнатова шла контузия). Он приезжал к Ивану Евдокимовичу на трофейном мотоцикле с коляской.

— Не глуши! — кричал Кириенков. — Я же говорил, что на минутку, — и тут же засовывал в чрево прицепа пузатый чумал. — Это — твоим мальчикам. А второй мешочек отвезем завтра на переправу?

— Отвезем, — отвечал майор и давал газку.

На следующий день, обнимая мешок с яблоками, Иван Евдокимович восседал в коляске гоголем, и члены ДОСААФ Игнатов и Кириенков гнали в Соловьево; пыль за их мотоциклом долго не оседала, ее клубочки рассеивались нежнейшей августовской пудрой по крышам домов Клестова, Тетерина, Береснева, Зимца, Савина, Зуева, Топорова, Лисичина, Витязей и прочих деревень и сел, что связали свою христианскую судьбу с духовщинским, впадающим в Старую Смоленскую дорогу, большаком.

Карелия встречал боевых товарищей у парома через Днепр. Жена его, статная и строгая Александра Васильевна, имея всегда плотный букет ромашек, делила его на четыре части, чтобы, пока дредноут на тросах массивно шел от берега к берегу, могла получить из теплых ладоней фронтовиков голубая-голубая вода реки самые главные, с солнышком посередине, цветы русского поля.

А нынче с Семеном Семенычем случилась беда — в областном военном госпитале ему ампутировали кисть и предплечье левой руки. Первым, кто проведаль после операции политрука, оказался радиожурналист и поэт Алексей Мишин. Карелин был бледен и горд. Он даже улыбался, потому что три дня назад все могло закончиться не бедой, а трагедией.

А случилось-то вот что.

После обеда Семен Семенович направился в библиотеку полистать свежие московские журналы. Навстречу — Таня Куделина, пятиклассница:

— Семен Семенович, ребята в рощу понесли снаряд в костер бросать!

Учитель рванул к околице, где над кронами лип и черемух, высаженных по краю противотанкового рва, вился едва заметный дымок. И он успел-таки всех четверых любителей гаднуть столкнуть в овраг! Но, пихая последнего, поскольку-нулось — подвела лысая подошва сандали.

— И хорошо, что поскользнулся, — оптимистично изрек Карелин, — получилось, как под бомбежкой: вовремя залег. За клешню зацепило. А так бы по кусочкам меня и собирали бы. Ничего себе — сходил в библиотеку...

Мишин, рассказывая, старался передать мимику и самоироничность Семена Семеныча.

— Политрук он и есть политрук, это на всю жизнь, — Иван Евдокимович взглянул на корреспондента. — Согласен?

— Согласен.

— А что за привет у тебя в чемодане? Включи-ка свой этот... как его... патефон.

Магнитофон занял, считай, полстолешницы. Всего три или четыре секунды покрутились большие желтые бобины — и вдруг голосом Карелина они произнесли:

— Дорогой Иван Евдокимович! Очень рад, что ты отпраздновал свадьбу своей

дочери. Поздравляю! Уверен, что Женя будет счастлива в семейной жизни, поскольку вышла замуж за фронтовика, а ты дал молодым свое благословение... Что касается моего здоровья, то скоро вернусь в Соловьево. А как жить инвалидом — ребята из твоей подъяблочной команды научат, стаж однорукости-одноногости у вас приличный, так что готовьтесь передавать опыт. Думаю, что на 25 сентября, день освобождения Смоленщины, буду у тебя в Речистом, собирай народ. Времени спокойно подумать над своим поступком у меня нынче хватает, и я сейчас твердо говорю: знай заранее, что лишуся руки, но мальчишки останутся целы, — побежал бы в рощу еще быстрее. Да ради этих огольцов и жизни не жалко. Уж ты-то меня понимаешь! А горько мне сейчас только от того, что никто не смог таких же ребятков под Вязьмой спасти. Историю эту тебе, если не слышал, Алексей Викторович расскажет. А лучше пусть прочтет свое стихотворение — и ты мою боль поймешь и разделишь.

Шуршащая лента унесла в глубь чемодана голос Карелина, Мишин щелкнул выключателем и взялся за крышку магнитофона.

— А что случилось под Вязьмой? — Иван Евдокимович тяжело посмотрел на гостя.

— Шестеро школьников подорвались на mine. Младшему — семь лет, старшему — пятнадцать. Война. Чем от нее дальше — тем больней. Две недели назад это случилось, я там как раз в командировке был.

Кириенков посмотрел на дочь:

— Видишь, что на нашем смоленском свете творится, а мы тут чай гоняем... Эх, Днепро-Днепро, Вязьма-Вязьма. Карелия, ты мой Карелия!» Ладно, помянуть деток надо и за здоровье политрука выпить.

Алексей достал из рюкзака снедь и бутылку «Столичной», Иван Евдокимович сходил в чулан за холодцом, Женя, вытерев уголком рушника слезы, распахнула буфет, и на освобожденном от говорящего карелинским голосом ящика столе появились рюмки, тарелка с хлебом, огурцы, миска с мочеными яблоками.

— Как твое стихотворение называется, Алексей Викторович?

— «Баллада о крови».

— Мы слушаем тебя.

Алексей вспомнил свою поездку с вяземским военкомом на братскую могилу школьников и венки на свежем холмике с надписями на лентах «От второго класса «А», «От четвертого класса «Б», «От пятого...», «От...», тут же всплыло госпитальное лицо Карелина и его жгуче сожалеющие слова: «Никто не смог ребятков спасти, никто», и он начал читать стихотворение о гремучей смерти, затаившейся с войны и в какой-то миг унесшей юные жизни. Строки отдавались в сердце:

Мелькали праздно дни победы...
Но песни рано петь в полях,
Пока уходят внуки к дедам,
Когда-то павшим здесь в боях.
И кровь сливается с их кровью,
Восходят свежие холмы...
Не воскресить их хлебной новью,
Ни далью росной тишины...

ЗЯТЬ БЕЗНОГО СОЛДАТА

На десятилетие Победы в саду Кириенковых собрались не все.

Зимой прямо у наковальни не выдержало сердце у дяди Толи Кузнецова. Но какую память оставил! Сразу после Нового 1955 года он начал делать всем друзьям подковы, чтобы 23 февраля подарить на всю оставшуюся — счастливую —

жизнь. Отковать успел, только вот сам до двадцать третьего не дожил. На поминках сын Кузнецова, Виктор, раздавал подковки... да и не подковки вовсе, а само чудо изящества! Елена Ивановна, вдова, при всей кувалдовой тяжести горя, напонила сыну: «Кириенковым — две штуки: Ивану Максимовичу, само собой, и Жене с Анатолием».

Не приехали в сад Егоренковы: 1 мая Анна родила Степану Ильичу сына Кольку, и, понятное дело, тема для разговора о-го-го какая появилась, тем более их Женька, третьеклассница, уже в пионерском галстуке (только что приняли!) от родителей открытку принесла с поздравлениями всему застолью.

— Лукаш, где твой картуз?

— А вон на сучке висит.

Иван Максимович, не успевший на этот раз отстегнуть протез, зашагал к яблоне.

— Мог бы голову и побольше иметь, а, Лукаш? — ехидничал Кириенков, оценивая размер картуза и его нутро. — Так, други, на приданое будущему защитнику Отечества Николаю Степановичу Егоренкову, имеющему неделю от роду, по червонцу сбросимся?

И картуз, вертя козырьком, полетел по кругу.

Анатолий достал из портфеля плитку шоколада «Золотой ярлык». Евгения кивнула:

— Ты Женечке? Отдавай, отдавай поскорей!

Царевы тоже ждали прибавления, и Анатолий каждый день старался чем-то побаловать жену. Вот ребята из областной газеты ему с okazji недавно даже мандаринов прислали: в Смоленске на рынке все есть!

Звенел в небе жаворонок, и Анатолию захотелось, чтобы песенка зазвучала погромче. Больно высоко птах забрался: спустись пониже, птица!

— Тебя! — Евгения прикоснулась к мужу локотком и кивнула в сторону торца стола.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться? Сухарев, представитель сообщества фронтовиков, выживших после Соловьевой и других переправ!

Анатолий встал.

— Я тут ребятам 23 февраля проговорился, что тебя как литературного работника об одном дельце просил. Сегодня 9 Мая. — Александр Иванович постучал кончиком ножа по фляжке, которую только что отстегнул от пояса. — Мужики, тише, поэты тишину любят!

У Царева что-то трепыхнулось под левой подмышкой: читать или не читать, а вдруг обидятся... Но тут кивнула Женья: «Давай, Толя!»

Женья сидела, сцепив руки под круглой горкой живота, и Анатолий понял: все, что он сейчас скажет, услышит и их дитя.

— Дорогие боевые друзья! Я много испортил бумаги, чтобы выполнить задачу, поставленную Александром Ивановичем. Стихи получались, а души в них такой, как, скажем, у Константина Михайловича Симонова, не чувствовалось. Ну не чувствовалось — и все! А без души нельзя. Нечестно. И тут мне помог Алексей Боденков из областной газеты: разрешил подарить вам свои святые строки:

Я зять безногого солдата.
Он человек лишь до колен.
А ниже — дерево и вата.
Иль... что там выдают взамен?
Сапер. В войну на минном поле
Чуть-чуть ошибся он — и вот
С той нестерпимо страшной болью
Уже который год живет.

Вот он (ему б сидеть на месте)
Идет, протезами скрипя.
Но я-то вижу: трудно тестю
Держать с достоинством себя.
Давным-давно он с поля боя,
Совсем, казалось бы, привык.
Но я-то вижу: тестю больно,
И больно так, что в сердце крик.
Я вместе с ним переживаю
Все то, что сам он гонит прочь.
А как помочь ему, не знаю,
Хоть очень хочется помочь!
Как зять безногого солдата
И как участник той войны,
Я говорю: да будет свято
Вовеки царство тишины!

— Максимыч, ты все понял? — Сухарев глядел на Кириенкова, тот тер глаза. —
Что ты молчишь? Зять у тебя талант и на войне был не зря!

Иван Максимович, слотнув комок и прокашлявшись, виновато попросил:

— Сынок, а еще разок можно?

Анатолий кивнул: у него тоже першило в горле.

— погоди, капитан. Дай-ка я тебя обниму... Так, а теперь — горячее... Дырка-дыркой, а все ж-таки до половины я ее наполнять могу. Последний раз посудинной пользуюсь, отдаю ее тебе, капитан. — Александр Иванович плескал по стопкам водку из симоновской фляжки. — Дарю! — Сухарев снова обнял Царева. — А теперь, давай, читай по новой.

И Царев, поняв, что стихотворение принято, хотя и не он — его автор, волнуясь голосом, отрубая ритм рукой с зажатой в ней флягой, прочитал еще раз.

И зависла среди белого дня такая тишь, что стало слышно, как яблоневые лепестки с шорохом прикасаются к траве.

Потом кто-то кашлянул, и тут Сухарев зааплодировал. Все спохватились и тоже захлопали: двурукие — в обе ладони, однорукие — ложками по краю столешницы.

Анатолий поднял стакашек:

— Спасибо! С Днем Победы! — и по кругу пошел, с каждым чокнулся, поцеловал Евгению.

Выпили. Вскочил Лукаш:

— Песню! «Артиллеристы»!

— Отбой! — тут же встал Сухарев. — Давайте-ка отложим «Артиллеристов» до следующего застолья. — И процитировал две крайних строчки стихотворения: «Я говорю: да будет свято / Вовеки царство тишины!» Так что в самый раз будет!

Лукаш бросился на веранду, где подходил самовар.

— Петро, ты куда с одной рукой? Это же самовар, печка доменная, а не твоя шустрая Лушка, его не обнимешь!

Мгновенно спас обескураженного Лукаша Анатолий:

— А мы с Петром Егоровичем самовар одолеем в три руки! Я помогу...

Женя вынесла коробку с чайным сервизом. Его подарили Царевым на свадьбу члены литобъединения, но кто ж на свадьбе пьет чай! А вот на День Победы о голубых чашках вспомнили... И сильнее, намного сильнее закрубились лепестки одувана: чайный аромат и жгучий пар из медного душика так ударили снизу в крону, что жена попросила Анатолия оттащить самовар на более удаленный от ствола яблони край.

Поняв, что пришел его черед для тоста, встал Иван Максимович:

— Тяжело жить, а хочется. А будет легче? Будет. Не нам — нашим детям и внукам. Мы же ради них все эти переправы, начиная с Днепра и заканчивая Эльбой, прошли. Ну, а сегодня мне, скажу, как на духу, жить по новой захотелось. Надо дождаться, когда товарищ, что во-о-от там, у Жени, спрятан, сам стишок мне прочитает: «Я — внук безногого солдата!» Как, Анатолий, прочитает?

Царев взглянул на Женю — она горделиво и мечтательно улыбнулась ему, и Анатолий ринулся к Ивану Максимовичу. Крепко-крепко обнялись зять и тесть...

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Прошло сорок девять лет. В один из декабрьских вечеров 2014 года, отмеченных не нарастающей морозной страстью зимы, а муторной слякотью умирающей осени, ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Дмитриевичу Цареву стало не просто плохо, а хреново, даже, мягко говоря, очень плохо. Сердце уже месяц вело себя, честно сказать, корявенько, однако старик никому не жаловался, а глотал пилюли и терпел. Жаловаться Царев привычки не имел, наоборот, всю послевоенную жизнь проработав в газете, он сам помогал жалобщикам, науке же превозмогать себя Анатолий выучился еще на фронте. Однажды он часов пять пролежал в снегу на морозе, корректируя огонь минометного дивизиона, и ничего: морально-волевые качества не подвели, а обморожение оказалось, слава Богу, минимальным. Но одно дело терпеть, когда тебе девятнадцать и сердце живет боем, и другое — когда тебе под девяносто и обороты движка затухают и вот-вот куда-то исчезнут...

Сын Олег, Олег Анатольевич Царев, приехал, как всегда, поздно. Будучи главой администрации Соловьевского района, он заседал в областном центре в оргкомитете по подготовке празднования 70-летия Великой Победы. Часть вопросов, в том числе и по созданию мемориала на переправе (точнее, уже по его финансированию) перенесли на следующий день, можно было бы остаться переночевать в Смоленске (у дочери, завуча гимназии, там трехкомнатная квартира), однако в голове сидело: «Батя дома один!» — и Олег вернулся в Соловьево. Полтора года назад ушла из жизни мать, Евгения Ивановна, ее сожрал рак, который зародился под шрамом на ладони, когда-то разрезанной немецким осколком, и Анатолий Дмитриевич сказал тогда: «Женечка, дай срок, вот 70-летие Победы встречу — и сразу к тебе. Потерпи, пожалуйста...»

Царев-младший знал про настрой отца и верил, что это поможет тому жить в ожидании юбилея Победы. И Олег поставил цель возвести мемориал на Соловьевой переправе. О своей затее он рассказал отцу. Часто бывая в областном центре и столице, убеждал высокое начальство: ведь это дань памяти ста тысячам красноармейцев и командиров, павших здесь во имя спасения Москвы в сорок первом! Чиновный клан держал оборону: негромкий, но такой стратегический подвиг Соловьевой переправы в начале войны почти ничего не значил для имеющих доступ к казне столоначальников. Они изучали историю по выхолощенным в мутные девяностые годы учебникам. Кривили физиономии: ну что там твое это Соловьево!.. Сталинград, Севастополь, Курская дуга всему миру известны. Есть, в конце концов, комплекс памяти на Поклонной горе в Москве, так что деньги надо тратить на более насущное...

Олег, выросший на рассказах ветеранов, устоявших на колыхающихся бревнах переправ, наведенных на кровавых реках войны, по наущению деда избравший стезю офицера-пограничника, служивший в конце восьмидесятых начальником заставы, в трудную минуту такого непонимания взрывался и начинал читать в высоких кабинетах «Переправу» Александра Твардовского:

...И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят...
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Это ведь написано о смоленских событиях, о неизвестных героях, которые никогда так и не станут известными!

А известные — однорукие Лукаш и пастух Левшунов, политрук-учитель Карелия, ослепший Степан Ильич Егоренков, безногий мастер по изготовлению подков счастья Кузнецов, дорогой дедушка Иван Максимович Кириенков, все другие боевые товарищи деда и отца, — их ведь тоже уже нет на белом свете...

Стихи читать и при их помощи, в случае чего, убеждать в своей правоте людей, не понимающих душу русского человека-патриота, Олега, кстати, научил Иван Максимович, а не поэт-газетчик папка. Бывало, дедушка говаривал: «Давай, внук, давай. Но только — ударно. Ударно!» Бодренковское «Я зять безногого солдата» звучало в раннем детстве, в школьные же годы пришли Симонов, Наровчатов, Орлов и, конечно, Александр Трифонович Твардовский.

А последний раз Олег читал «Внука-зятя» Ивану Максимовичу в апреле семьдесят седьмого, когда перед отбытием на заставу приехал домой — показаться в лейтенантских погонах. Дед позвал его с собой в березняк собрать там в алюминиевую сорокалитровую баклагу сок, капающий в подвешенные к деревьям банки, и, когда выбрались на желтую от пожухшей прошлогодней травы опушку рощи, сказал: «Отдохнем, товарищ лейтенант...» Олег сбросил бидон, расстегнул молнию на горловине спортивного костюма, развернул плечи:

— Благодать...

— Давай, Олег Анатольевич...

— Ударно?

— Душевно. Не нарушая тишины.

Иван Максимович присел на ствол не пережившей зимы поваленной вербы, снял кепку. Солнце струило сквозь голые сучья охранявшей опушку березы ласковое тепло, лучи подняли на голове старика седой пух — и жесткое лицо его вдруг стало почти юным. Золотистый нимб, неяркие, но внимательные глаза, руки, усвоенные на суровой ткани галифе... дед слушал!

...да будет свято

Вовеки царство тишины.

Олег произнес последние слова почти шепотом, не напрягая голосовых связок — небо стало шершавым, и он отщипнул с еще живой ветки вербы похожую на шмеля ароматную почку, попробовал жевать. Но дед шевельнул ладонью, лежащей на колене протезной ноги: «А теперь — про «стриженных ребят...»

Переправа, переправа!

Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый

В море вынесла волна...

Во имя памяти тех «стриженных ребят», во имя увидевших свет Победы и поднявших ее флаг над Берлином деда, его славных, милых друзей, во имя отца, каждый новый год живущего только ожиданием 9 Мая, надо, надо создать мемориал!

После обращения Царева в администрацию Президента в Соловьево приехал лично губернатор. Пешочком прошелся по берегам Днепра. Они были уставлены

серыми, неприметными обелисками. Взглянул на скромный постамент: на нем застыли реактивные минометы «катюши»: это они в сорок первом защищали переправу. Затем побывал в двух музеях — деревенском и районном... Вынес свой вердикт: «Надо зажигать Вечный огонь!» И уже назавтра, Олег Царев это нутром чувал, после заседания оргкомитета, должны будут завертеться маховики властного механизма: изыскатели, проектировщики, художники, строители, газовики и прочие специалисты срочно, как по команде, возьмутся за сооружение памятника героям Соловьевой переправы...

...Олег придвинул стул к изголовью отцовского дивана и почему-то решил, что его рассказ о походе с дедом за березовым соком немного утишит страдания Анатолия Дмитриевича в этот поздний вечер, как-никак тридцать семь лет прошло со дня кончины Ивана Максимовича... Однако Царев-старший, только что согласившийся выпить чаю, вдруг прохрипел: «Скорую!» — и потерял сознание.

Вскоре около отца суетилась хрупкая женщина-врач. Ольга Владимировна проверяла пульс на сонных артериях, поднимала веки, изучая зрачки и готовясь сделать укол, сказала неожиданно:

— Спасти Анатолия Дмитриевича можете только вы, Олег Анатольевич! В районной больнице у нас нет нужного оборудования, до областной доездить не успеем. Вы сильный, делайте сердечно-легочную реанимацию!

— Закрытый массаж сердца?

— Да! Откиньте ему голову! Давите на грудину. Ритмично двигайте ее к позвоночнику. Да надавливайте же, что вы медлите, атакуйте, вы же офицер!

Слово «офицер» стегануло, обязывая вспомнить практические занятия на манекенах: седой военврач, лекарь, которого между собой они называли Белокурым, твердил им, легкомысленным курсантам: «Вы — будущие командиры! Так учитесь не только командовать людьми, но и спасать их. Нет боя — есть ЧП всякие, нет раны — есть афлексия, аритмия, за сердце надо бороться всегда! Дышите рот в рот, в вашем выдохе — шестнадцать процентов кислорода. Живительного в эту секунду кислорода!..

...Ольга Владимировна с удовлетворением наблюдала: оказывается, глава района — профессиональный спасатель, он методичен и неумолим. Но насколько его хватит, вон рубашку уже можно выкручивать!

«В крайнем случае, ударьте кулаком в грудную клетку изо всех сил, ударьте так, как будто это враг!» — воспаленный мозг напомнил Олегу еще одну рекомендацию Белокурого.

— Прости, папа! — Три удара, которые нанес сын по обмякшему отцову телу, сокрушили бы медведя! Последний удар оказался наиболее сильным.

Ольга Владимировна, испугавшись, схватила Олега за руку:

— Остановитесь!

— Доктор, я не в аффекте, не бойтесь. Послушайте сердце!

Чудо? Да, чудо: сердце трепыхалось, пусть слабенько, но сигнал подало: хочу жить... хочу жить... хочу жить! Ага, еще рот-в-рот, кислород, рот-в-рот кислород, — и Анатолий Дмитриевич открыл глаза.

Едва заметная улыбка тронула лицо больного, кажется, он что-то прошептал. Врач нагнулась к нему, потом подняла глаза на Олега:

— Не пойму... что-то такое про ноги...

Олег почти прикоснулся щекой к губам отца. И услышал:

— Я зять безногого солдата...

— А я — внук! Давай-ка выздоравливать — Вечный огонь на Соловьевой переправе зажигать вам, товарищ фронтовик! Считайте, что это боевой приказ Ивана Максимовича.

— Выполню! — негромко сказал Анатолий Дмитриевич. — Такая боевая задача моему сердцу теперь по силам.